

И.Ю. МЛОДИК

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ

НА ШАРЕ
ДЕВОЧКА

КОГДА
СТРАДАНИЕ
СТАНОВИТСЯ
ОБРАЗОМ
ЖИЗНИ



Ирина Млодик

**Девочка на шаре. Когда страдание
становится образом жизни**

«Теревинф»

2016

УДК 821.161.1.-31
ББК 84(2 Рос=Рус) 6-44

Млодик И. Ю.

Девочка на шаре. Когда страдание становится образом жизни /
И. Ю. Млодик — «Теревинф», 2016

ISBN 978-5-98563-436-5

Роман и психологическая статья, представленные в книге, иллюстрируют различные проявления мазохизма в нашей культуре. Мазохистами, с психологической точки зрения, принято называть людей, которые привыкли страдать ради других: к примеру, откладывать решение собственных проблем или вовсе не замечать их, занимаясь вместо этого судьбами других. Если вам иногда хочется сыграть значительную роль в чужой судьбе, сначала задумайтесь, насколько не оказывается обделенной при этом ваша собственная судьба. Если вы не верите в то, что именно вы являетесь творцами собственной жизни, вы провоцируете других людей поучаствовать в вашей жизни на их усмотрение. Для широкого круга читателей. 3-е изд. (эл.).

УДК 821.161.1.-31
ББК 84(2 Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-98563-436-5

© Млодик И. Ю., 2016
© Теревинф, 2016

Содержание

Девочка на шаре	6
Конец ознакомительного фрагмента.	27

И. Ю. Млодик

Девочка на шаре. Когда страдание становится образом жизни

От издательства

Это третья книга Ирины Млодик, написанная в необычной манере, – она включает в себя художественное произведение, дающее возможность читателю увидеть, понять и прочувствовать сущность психологического нарушения (в данном случае речь идет о мазохистических особенностях характера), и статью о механизмах формирования этого нарушения и возможностях психотерапевтической работы с ним.

С точки зрения психологии мазохист – это человек, чьи желания и потребности с детства попираются, в результате чего он перестает ощущать свою человеческую ценность. Ему трудно заниматься собственной жизнью, он ищет и находит тех, кому готов служить и подчиняться. Не замечать усталости, боли, жары для такого человека намного естественнее, чем проявить заботу о себе. Способность выносить страдания и лишения – его главная гордость, способ получить любовь, стать морально выше других.

Говорить об этой проблеме непросто хотя бы потому, что, как пишет автор, для российского и постсоветского обществ эти особенности очень характерны. Они вполне приемлемы, считаются почти нормой. Тем важнее прочитать эту книгу, иначе взглянуть на то, что, на первый взгляд, кажется таким привычным и обыденным. И попытаться разобраться, что же можно сделать для изменения ситуации, для того чтобы мы перестали жить, страдая, смогли увидеть свои потребности и желания и дали возможность начать жить собственной жизнью своим близким.

Ольга Сафуанова, главный редактор издательства

Выражаю глубокую признательность:

семье моей сестры:

Марине, Грэгу, Арише, Саше, Элине, Дэвиду;

семье Морозовых из Новосибирска:

**Валентине, Дмитрию, Полине и Александре за тепло и
гостеприимство, щедро питавшие меня во время работы над книгой**

Девочка на шаре

По оценкам МВД России, в 1994 году почти 14 тысяч женщин были убиты мужьями или сожителями. Для сравнения – за 10 лет Афганской войны Советский Союз потерял 17 тысяч человек.

Сайт центра «Сестры»

*Мать-одиночка растит свою дочь скрипачкой,
Вежливой девочкой, гнесинской недоучкой.
«Вот тебе новая кофточка, не испачкай».
«Вот тебе новая сумочка с крепкой ручкой».
Дочь-одиночка станет алкоголичкой,
Вежливой тетечкой, выцветшей оболочкой,
Согнутой черной спичкой, проблемы с почкой.
Мать постареет, и все, чем ее ни пичкай,
Станет оказывать только эффект побочный.
Боженька нянчит, ни за кого не прочит,
Дочек делить не хочет, а сам калечит.
Если графа «отец», то поставлен прочерк,
А безмянньный палец – то без колечек.
Оттого, что ты, Отче, любишь нас больше
прочих,
Почему-то еще ни разу не стало легче.*

Вера Полозкова



Не касаться земли. Балансировать. Взмах тонких рук, и ей снова удастся сохранить равновесие. Нельзя сойти с шара. Двигайся, перебирай ножками. Тебе нельзя упасть. Ты не можешь остановиться, расслабиться, ощутить опору. Опора есть у сильных. Она есть у него. Ему так удобно сидеть на большом кубе. Он вправе. Ему можно. Крепкие, широкие ступни и твердость земли. Он уверенно занимает место, повернувшись ко всему миру широкой мускулистой спиной.

Ему можно. Тебе – нет. Твой удел – перебирать ножками, держать равновесие. И улыбаться. Не забывай улыбаться. Никто не должен видеть твоей усталости и слез. Легче. Изящнее. Ты должна радовать. Давай же. Нельзя сойти с шара. Терпение и усердие. А что, если?.. Нет. Не вздумай, иначе он поднимется со своего куба, и потом боль в исполосованной плеткой спине и синяки на ногах будут мешать тебе держаться на шаре. Будет только хуже. Просто терпи. Перебирай ножками. Старайся, держи равновесие. Ты не должна его подвести. Тебе лучше его не злить...

Она любила эту картину. В молодости, глядя на нее, сначала, как и все вокруг, видела только акробатов на привале: хрупкую девочку и широкую мужскую спину. Романтичный Пикассо, через «голубое» прожив свои потери и расставшись с иллюзиями молодости, вдруг обращается к «розовому», разрешая себе окунуться в легкость и радость цирковых представлений, в романтизм, крепость уз, надежность актерского братства.

Прошло всего каких-то пара лет... Нет. Голубой на самом деле никуда не ушел. Теперь она это ясно видит. Откуда они взяли эту глупость – «розовый период»? Голубой его одино-

чества и скорби еще здесь, в этой девочке, мучительно ищущей ускользающее из-под ее ног равновесие, и в явном, грубо заявляющем о себе синем с мужской стороны картины. Неужели не видно? И куда только смотрят искусствоведы...

Когда она была немного моложе, та самая акробатка напоминала ей Суок – девочку из фильма «Три толстяка». Она-то, конечно, может позволить себе безмятежность, детскую грацию и даже рискованные подвиги, ведь рядом с ней смелый Тибул. Сильный и преданный мужчина рядом – такая прекрасная возможность быть хрупкой и верить, что он все сделает для ее спасения. Тибул из фильма очень нравился ей: стройный, подвижный, с теплым взглядом и нежностью в голосе. Он ничем не напоминал ей собственного отца, который как раз вескостью, мощью и значительностью весьма походил на мужчину-акробата в синем.

Картина в который раз поймала ее и оставила при себе. Живи как хочешь, свободна. Она снова исчезла, осталась только девочка с розой в темных волосах, бесконечно ищущая свое равновесие. И не поднять глаз. Не сойти на землю.

Она шла из Пушкинского с ощущением странного освобождения. С легкостью, с решением внутри. И почему она сомневалась? Конечно, нужно сказать «да», он же так ее любит...



Мы не виделись со студенческих времен. Возможно, моя жизнь так бы и не пересеклась еще раз с ее судьбой, если б не Ленка, обладающая редким даром – соединять все и всех в чудовищную круговерть.

Если бы перед знакомством с Ленкой хоть кто-нибудь предупредил меня о том, что один раз попав в ее планетарную систему, с нее уже не выбраться, так велика Ленкина гравитация, то я бы еще подумала, подходить или нет к этой миловидной, маленькой, чуть полноватой и всегда чем-то увлеченной блондинке. Даже телефон, кажется, звонит задорнее и напористее, когда на том конце провода ее воодушевленный голос. Да уж, Ленку ни с кем не спутать.

– Ты что, не знаешь? Она же в больницу попала, а у самой дома остался ребенок-инвалид. Ты что, не знаешь, что у нее ребенок-инвалид? Ну ты на какой планете живешь? А еще, блин, интеллигенция! Арина, как можно?! – В то время пока Ленка бодро вещает, я вспоминаю Ингу и пытаюсь вписать все, что слышу, в какие-то картины, которые сменяют одна другую прежде, чем я успеваю их дорисовать.

Светло-русская девушка, из всех предметов непонятно почему любившая так не любимую всеми остальными социологию и социальную психологию, в то время как все были «намагничены» зарубежной журналистикой и пиаром. Тихая, милая, всегда погруженная в себя. Неглупая, как уже тогда было очевидно. Говорила она редко, но слушать начинали все. Мало слов. Коротко. Всегда основное. Как будто долго думала, вылепливала слова и выдавала уже суть, не рисуясь, не умничая, просто дарила нам слова, которые хотелось сразу же положить в какое-то потайное место и потом прослушивать раз за разом, пытаясь понять что-то важное, заключенное в них, но еще не долетевшее до всех закоулков души.

Симпатичная или милая, даже не знаю, как точнее. Никакой яркости ни в чем. Пастель. Приглушенный звук. Странная боль в глазах, не острая, не жгучая, боль человека, привыкшего к своему страданию. Инга. Да, наверное, рядом с ней можно представить ребенка-инвалида, как это ни грустно, можно. Почему-то очень верится.

Мои психологические зарисовки прерывает осознание того, что восклицательные знаки в трубке сменились вопросительными, а значит, от меня ждут ответа.

– Ну что ты думаешь по этому поводу? Кого? Кто бы мог? Как думаешь? – Я догадываюсь, что уже с десятков вопросов я, похоже, пропустила. Ленкина способность за пару минут сообщать огромное количество информации явно опережала мои способности эту информа-

цию улавливать. Интересно, это потому, что я неуклонно старею, еще не сработала первая чашка кофе, или мы с Ленкой, от которой я уже успела отвыкнуть, но еще не успела отдохнуть, такие разные? Быстро прикинув, что приятнее всего думать последнее, решила не терзаться и, рискуя превратить наш разговор в бесконечно долгий, переспросила:

– Кто бы мог что, Лен?

– Как что? Ты что, не слушаешь меня, что ли? Ну помочь, посидеть с ее Степкой. Некому ведь. У меня ж ты знаешь – мама. Я сама не могу, днем особенно, только вечерами забежать. Я уж и Варьке звонила, и Светке. Все отказываются, у всех дела. Понимаешь? У них дела! А ребенок? Вот ему как? Он же колясочник. У тебя ж, мне сказали, отпуск, и ты как раз никуда не едешь. И надо-то всего недельку-другую, а потом, глядишь, и Ингу выпишут. Ну днем только, вечером я прибегать буду и еще сейчас других обзвоню.

– То есть ты меня просишь? – Я как-то не отдавала себе отчет в том, что сей пламенный спич будет касаться лично меня. Говорила же я себе еще в прошлый раз: не хочешь проблем на свою голову, не бери трубку! Говорила же, что вместо «Ленка» в мобильнике надо написать «Аришенька, умоляю, не отвечай на звонок!!!».

– Ну конечно, тебя! Я вообще с кем разговариваю? У тебя же отпуск, мне Варька сказала. И надо-то неделю. Тебе что, недели для ребенка жалко? Тебе же все равно делать нечего. Как ты собираешься проводить отпуск в ноябре? По Москве гулять в такую холодрыгу, что ли?

– Нет, гулять не собираюсь. – Я начинаю говорить медленнее в надежде хоть что-то успеть обдумать, но чем длиннее паузы между словами, тем больше нарастает скорость Ленкиной речи.

– Короче, записывай телефон Инги и адрес. Есть чем писать? Ладно, я сейчас пришлю тебе смс-кой. И еще Степкин телефон пришлю. Я вчера у него была, покормила, у него все есть, но сегодня к обеду, давай, очень нужно, чтобы ты пришла, а то голодным парень окажется. Все, у меня параллельный звонок. Не могу больше болтать с тобой, пока.

Теперь на меня практически без предупреждения накинудись гудки. «И вот что мне теперь с этим всем делать?» – гневно вопрошала я неизвестно кого. «Какого черта ты взяла трубку? Тебе что, плохо жилось с утра? Ведь сегодня первый день твоего долгожданного отпуска! Всего только полчаса до полудня! Еще кофе даже не успел просочиться в жилы, а ты уже заимела себе геморрой! У тебя же были планы, ты помнишь? Бассейн, фитнес-клуб, любимые книжки, блог, статья, которую ты все рвешься написать. Как же твои планы?»

«Я ж не сообразила, что это Ленка. Она же так быстро. Говорит как пулемет... Я же ничего не обещала. Я же не сказала “да”. Она сейчас позвонит кому-нибудь другому, и все уладится. Да и вообще, можно просто не ходить и все. Да, не ходить. И заняться своими делами». В ответ на этот душераздирающий, но такой утомительный, непрекращающийся внутренний диалог проурчал телефон, возвещая о полученной смс-ке. «Ты можешь ее не читать. У тебя отпуск, – увещевал меня мой Правозащитник, – ты пахала целый год как проклятая, у тебя почти не было выходных. Тебе можно заниматься только собой, даже если все дети мира будут голодать и просить о помощи».

«Да, конечно, – согласилась я сама с собой, – я только гляну, вдруг это не Ленкина смска, а чья-то другая, важная, и все. Я просто проверю. Никуда ехать я не собираюсь».

«И еще купи ему апельсины. Горло слабое. Как бы не разболелся», – было написано в сообщении, далее шли телефоны и адрес.

Ну хорошо. Та-а-ак. Что я планировала на сегодня? Отдохнуть. Есть всякую хрень, смотреть всякую чушь. Сходить к вечеру в магазин и сварить-таки мужу борщ, в кои-то веки. Чтобы, когда он вернется домой, дома была еда, хотя бы отдаленно напоминающая ту, которой заботливые жены кормят своих голодных мужей. Да, таков был план.

Дожевав булочку с корицей и запив ее остатками уже остывшего кофе, я триумфально залегла на диван, и он прогнулся от важности возложенной на меня задачи – «отдыхать». С воодушевлением и немного гордясь собственной решительностью, я взяла в руки книгу.

Еще вчера все происходящее в ней имело глубокий смысл и захватывало меня всей душой, тем более что вечернее московское метро – такое место, где очень хочется сдаться почти любому сюжету. Но сегодня буквы лишь бестолково толклись на странице, не желая обретать смысл. Я сама никак не могла перейти в режим отдыха, несмотря на томную бразильскую музыку, сладкоголосыми ритмами заливающую мою комнату.

Почти через час я обнаружила, что лежу на диване с напряженным от раздумий тельцем и представляю себе этого Степку: маленького, шестилетнего, голодного, с больным горлом, разочарованного этим миром, в котором так много равнодушных взрослых, жалеющих для него всего лишь пару часов своей драгоценной жизни.

Своих детей у меня никогда не было и уже не будет по обстоятельствам, о которых нет желания вспоминать. Я прятала от себя эту боль подальше, давно прикрыв ее любовью к детям моих подруг. Чужих детей любить приятно, особенно Валюшкиных детей – Лизу и Катюшку, а потом и Васютку. Это получалось само собой. На особенно заполосных подруг-мамаш я обычно смотрела с едва скрываемым налетом благодушного цинизма и сочувствия, присутствовать в их больших детских компаниях не рвалась. Дети – это шумно, непредсказуемо, уютно.

В результате мучительных размышлений я все же решила набрать Ингин номер. Ну хотя бы просто узнаю, что с ней. В больнице человек лежит все-таки. Вдруг чего-то нужно. Каждый гудок, к моему собственному стыду, приносил мне все возрастающее облегчение: «Ну вот и славно. Она не берет трубку. Ей никто не нужен. Ты пыталась. Вот доказательство: твой пропущенный звонок в ее телефоне. Расслабься уже. Диагноз “неравнодушная” ты сама себе можешь поставить».

«Инвалид-колясочник» – слово каталось у меня на языке, как карамелька. Ни прожевать, ни проглотить. Хочется отвернуться от того, кто это говорит, сказать: «Не надо этого произносить, зачем это вы?» Само слово какое-то неприятное, о нем совершенно не хочется думать и уж тем более примерять к себе. Может, поменяем его на какое-нибудь другое?! «Ребенок-инвалид» – совершенно невозможное сочетание. Я уже не говорю про словосочетание «мой ребенок-инвалид». Чур меня! Не подходите, вдруг это заразно?..

Еще одна чашка кофе. Еще одна попытка понять, что же происходит на той странице, которую я читаю уже по четвертому разу. Еще один взгляд на телефон. В воображении уже прокрутился почти голливудский фильм с моим участием в главной роли: спасение бедного малыша.

Сначала, как водится, нам трудно найти общий язык, но мы проходим через все сложности и преграды и накрепко привязываемся друг другу. И в этот самый момент возвращается Инга – его мать. Ее слезы безмерной благодарности смешиваются с нашими слезами от необходимости расставаться. Но я обещаю приходить почаще, ведь теперь мы связаны общей историей. Я ухожу с ощущением нашей духовной близости, растроганная нашим прощанием, и понимаю, что именно так стоило провести мой отпуск, наделив его высоким смыслом и облагородив прекрасным поступком. Будет что вспомнить и рассказать внукам, которых у меня скорее всего никогда не будет, в качестве доброй истории, иллюстрирующей важность хороших поступков и дел.

Фу, самой от себя уже тошно. «Ничего нормально сделать не можешь! Взятась читать – так читай. Взятась помогать – уж лучше звони, чем впустую предаваться идиотским фантазиям. Сделай хоть что-нибудь. Не будь “между”, это же совершенно невыносимо!» Ладно. Набираю (что, в шесть лет у него уже есть мобильный телефон?). Эффект тот же. Долгие гудки. И

когда я уже со смесью облегчения и досады собираюсь нажимать на «отбой», звучит торопливое «да».

– Это Степан? Здравствуй, меня зовут Арина. Я когда-то училась с твоей мамой в институте. Теперь она в больнице, мне позвонила Лена. И сказала, что к тебе нужно прийти, что тебе нужна помощь. Я в принципе могу.

– Спасибо, Арина. Но мне не нужна помощь. Ваша Лена зря беспокоится. Так ей и скажите. Я справляюсь. Спасибо за звонок.

– Подожди... – я совершенно растерялась, такой взрослый голос, такая правильная речь, такое теплое дружелюбие, такое несоответствие моему сценарию. – Степа, подожди! Можно я задам тебе несколько вопросов, если ты не торопишься?

– Да, задавайте, только минутку, я выключу чайник.

– Скажи, пожалуйста, тебе сколько лет?

– Тринадцать уже.

– Тринадцать? Я почему-то думала – шесть. А мама? Что с ней? Почему она в больнице?

На том конце повисло молчание, и мне стало неловко за вопрос.

– Для чего вам?

– Ну просто, я переживаю. Инга в больнице. Это серьезно? Может, что-нибудь нужно...

– Ничего не нужно. Вам не о чем беспокоиться. Мы справимся сами.

– А кто это вы? С тобой кто-то есть?

– Нет, я один. Мы с мамой справимся. Вам совершенно не обязательно приходить.

– А как же апельсины? – Я как-то совсем растерялась, то ли у меня забирают шанс проявить благородство, то ли что-то не то я чувствую в этой готовности «самим справиться».

– Какие апельсины?

– Лена сказала, что у тебя больное горло и тебе нужны апельсины, чтобы ты не разболелся.

– У меня ничего не болит. И у нас что-то есть из фруктов, – он пошебуршал пакетами, – груши есть, вот что, и бананы тоже.

– Ну хорошо, Степан. Еще один вопрос. А из взрослых к тебе кто-нибудь приходит? Ну бабушка там, тетя какая-нибудь, соседка, на худой конец...

– Я уже сам взрослый. А бабушка наша умерла в прошлом году. Мы даже на похороны не смогли поехать. Лететь далеко, да и дорого... – Детская печаль и растерянность промелькнули в голосе. Все-таки он – ребенок. Куда уж там – «сам взрослый».

– Мне очень жаль, Степа... Судя по всему, ты очень скучаешь по ней. Тебе ее очень недостает.

– ...Да. Как-то внезапно она умерла. Мама как будто до сих пор поверить не может. Да и я не могу. Мы ее ждали летом и вот не дождались. – Трогательный детский вздох, и я уже не знаю, что говорить, вопросы внезапно закончились, и захотелось просто обнять эти, наверное, хрупкие детские плечи.

– Слушай, Степ, а может, я все-таки зайду? Ну так, поболтаем, а? – то ли сказала как-то не так, то ли жалость в голосе прорвалась, не знаю.

Но вдруг резко и холодно:

– Спасибо. Не стоит. Всего вам доброго.

Гудки. И тишина.

«Не стоит»... Я сначала даже не поняла, чем я так ошарашена. То ли мне помешали проявить доброту, и это так неприятно. Раз уж так трудно решалась, то как будто хочется уже, что ли. То ли этот внезапный холод. Я его обидела? Своей жалостью, быть может? Или я была слишком навязчивой? Эта прорывающаяся детскость и такое твердое «мы справимся», повторяемое как мантра... Эх, Степа, мальчик-колясочник, что же у тебя там творится?

Теперь я уже точно не найду себе места. Еще раз пробую набрать Ингу. Тот же результат.

День как-то сразу перестал быть интересным. Даже лежание на диване почему-то уже не казалось таким привлекательным занятием, как раньше. Выглянув в окно, я обнаружила там, что ноябрь, переваливший за первую неделю, наполнил город всеми возможными оттенками серого.

Еще почти час прошел в безнадежных попытках обрести смысл в моей отпускной жизни, прежде чем я вспомнила про цель дня – сварить мужу борщ. Воодушевленная вновь найденным смыслом, я вышла на улицу за ингредиентами.

Обычно супермаркет для меня – место для слива раздражения, накопившегося за день, так мне досаждают необходимость ходить между полок и мучительно думать, что же нужно купить. А иногда волшебным образом он превращается в место для медитации, где после напряженного рабочего дня, одуревшая от размышлений, расписаний и необходимостей состыковывать все со всем, я погружаюсь в разглядывание бутылочек и баночек, подолгу зависая возле какойнибудь цветастой коробки с причудливыми хлопьями, совершенно не отдавая себе отчет, что же именно я так долго наблюдаю.

Сегодня был день медитации. Я долго бродила по супермаркету, очнувшись только в тот момент, когда с трудом смогла поднять два набитых пакета. С большим изумлением, разбирая дома сумки, я обнаружила там пакет с апельсинами.

«Странно, мы не едим апельсины. У мужа на них аллергия, а я просто не люблю. Если болею, всегда прошу купить мне киви. Зачем апельсины-то?». – «Ты же знаешь – для Степки, у него ведь горло...» – «Боженьки мои, ну при чем тут этот мальчик? Он же сказал: не приходите, мы сами справимся. Что навязываться-то людям? Заняться, что ли, нечем?»

«Ну да, справятся они, как же! Мало ли, почему он так отвечает, может, он гордый. Вспомни Ингу, она ведь тоже никогда не просила о помощи. Что-то было в ней всегда затаенное. Но никто из нас же понятия не имел, чем она живет. Общежитские все про всех знали, москвичи и так обычно трескались от благополучия. А Инга? Ни то и ни другое. Жила у какой-то тетки, то ли дальней родственницы, то ли материной подруги. Что ты знала о ней? Только то, что в общих сабантуях она участвовала редко. Всегда где-то подрабатывала. Что вышла замуж на четвертом курсе, но на свадьбу никого из студенческих не позвала, даже вездесущую Ленку. Что писала она, кстати, здорово. Не модно так, не с вызовом молодого постмодерниста, пытающегося выразить собственную самобытность, всегда в поисках новых форм, в чем заходила тогда вся наша молодежь, а тихо и строго, через оттенки передавая сущностное, главное. Завораживала плавным ритмом ее текстов, где каждое слово имело смысл и вес. Не то что мои «перлы» – всегда страдающие избыточностью сравнений, союзов и метафор».

Воспоминания прервал звонок мобильного.

– Привет, Арина, это Инга. Ты звонила мне. Я не могла подойти к телефону. Что-то случилось? Нужно помочь?

– Мне? Ну что ты, нет. Привет. Да, это я. Я думала, может, тебе нужна помощь. Звонила Ленка, сказала...

– А, Ленка... Ума не приложу, как она узнала. Зачем столько активности? Я ее ни о чем не просила. Ты извини, я не хотела тебя беспокоить. Она сама. Ты же ее знаешь: если ей что-то приходит в голову, ее не унять.

– Инга, подожди. Бог с ней, с Ленкой. Не за что тебе извиняться. Лучше скажи, что с тобой? Ты правда в больнице? Тебе что-нибудь нужно? Как ты себя чувствуешь?

– Да. Я в больнице. Множественные травмы. Скоро поправлюсь, не беспокойся.

– Ты попала в аварию?

– Нет, не совсем. Мной здесь занимаются хорошие врачи. Сказали, дней десять, максимум недели две, и я буду в порядке.

Неприятное ощущение, что я вторгаюсь в чужую жизнь, куда меня, очевидно, не хотят пускать, конкурировало с тревогой и смутным намерением немедленно что-то предпринять. Затянувшаяся пауза стала меня смущать.

– Хорошо, Инга. Если вдруг что-то будет нужно, для тебя или для Степки, ты звони. Я приеду, у меня все равно отпуск и туча совершенно свободного времени.

Через пять минут после разговора пришлось констатировать, что покой уже окончательно покинул мой восприимчивый организм. Я не находила себе места. Ни отдыхать, ни готовить борщ в таком состоянии было невозможно.

Адрес есть, апельсины есть, времени навалом. Осталось лишь погуглить маршрут и отдаться ноябрю, медленно, но верно ползущему к сумеркам.

Пятиэтажный дом по Ставропольской найти было нетрудно, хотя в Люблино я никогда раньше не заезжала. С трудом удержавшись, чтобы не зайти в супермаркеты, как назло регулярно призывно попадающиеся мне по дороге, и не закупить шоколадок («Зачем ему твои шоколадки, может, ему их вообще нельзя, может, он их терпеть не может, и вообще он тебя не просил приезжать и имеет полное право дать тебе от ворот поворот»), я подошла к нужному подъезду и нажала кнопку домофона.

Вызов отзвенел долгой трелью и затих. Я озадаченно смотрела на домофон минуты две, не понимая, что происходит. «Куда он мог деться, он же колясочник? Не тот адрес? Но Ленка же была здесь еще вчера. Он видел меня в окне и специально не отвечает? С ним самим уже что-то случилось, и мне нужно звонить в МЧС?» От растерянности я еще раз нажала кнопку. В какой-то момент трель захлебнулась и ответила мне раздраженно-вопросительным «да».

– Степа, это Арина. Я звонила тебе днем, я – мамина подруга, – испугавшись, что он немедленно отключится, я спешила доложить, – и с мамой твоей я уже созванивалась сегодня, узнавала, как у нее дела.

Прожужжавший домофон был мне ответом, и я смогла открыть дверь. Поднимаясь на пятый этаж, мимо чужих запыленных ковриков, детских велосипедов, живущих теперь воспоминаниями о лете, мимо старой полки с такими же старыми книгами, стоящей прямо на полу возле подоконника, с надписью над ней «бесплатные книги для бесплатного обмена и чтения», искушающими меня обложками изданий шестидесятых годов, я волновалась больше, чем идя на важное собеседование или экзамен. И я зло завидовала Ленке, которая, судя по всему, не заморачивалась мучительными размышлениями о том, стоит ли идти туда, куда тебя не звали. Переживания по этому поводу грозились истощить меня не меньше, чем подъем на пятый этаж без лифта.

Дверь была открыта. И я, запыхавшись, ввалилась в сумрак прихожей, уже утомившись сомневаться, готовая к любому повороту событий.

В глубине длинного коридора мелькнул трудноразличимый силуэт в коляске. Показавшись ненадолго, мальчик бросил мне мимоходом:

– Проходите, тапочки там есть на полке, я готовлю, должен помешать, а то подгорит.

– Ты готовишь? Надо же, – сказала я, снимая пальто, с облегчением принимая тот факт, что не встретила сурового приема и у меня даже есть время и возможность осмотреться.

Доставая с обувной полки потертые фисташковые тапочки с бледно-лиловыми вышитыми розочками, я с каким-то неприязненным чувством вспомнила брошенный, уж когда и кому не помню, Ленкин хлесткий «диагноз»: «Бедненько, но чисто». Захотелось выплюнуть эту точную, но какую-то унижительную формулировку. Не получалось, застряло вместе со стыдом от того, что она пришла мне в голову.

Захватив шуршащий пакет с апельсинами, я прошла на кухню. Запах интриговал еще из прихожей, а здесь развернулся в аромат, от которого мой живот немедленно вспомнил, что, кроме утреннего кофе с булочкой, в нем за весь день ничего съедобного не лежало. Это сбило меня с толку, и я не сразу поняла, в чем странность. Щуплый мальчишка что-то сосредото-

ченно мешал в большом казане, сидя на офисном стуле, сиденье которого было поднято на максимальную высоту. Коляска стояла в углу, загромаждая и без того небольшую кухню. А Степка, ловко хватаясь за все, что попадет под руку, стремительно перемещался на стуле, оснащенном роликами.

– Я плов готовлю. Будете? Уже скоро, минут двадцать всего осталось. – Он повернулся ко мне, и я смогла наконец рассмотреть его лицо. Из-под темно-синей банданы кое-где выбивались русые волосы. Серые Ингины глаза смотрели на меня дружелюбно и не по Ингиному живо. В них не было той затаенной боли, лишь печаль, дымчатая, еле уловимая. В его облике, таком еще детском, проступали сосредоточенность и зрелость, не соответствующие его реальному возрасту, и как будто бы затаенное напряжение, готовность к испытаниям. Хотелось смотреть ему в глаза, и не только потому, что страшно было опустить взгляд ниже, на его ноги. – Ну так что, будете?

– Буду, спасибо, – очнувшись от разглядывания и сравнения его реального образа с моими фантазиями о том, как он должен выглядеть, – я ужасно голодная на самом деле. А пахнет у тебя так, что даже если уже съел целиком запеченного слона, и тогда ни за что не откажешься.

Он снова лихо развернулся к тумбочке.

– Тогда я ставлю чай. До плова мы можем выпить, какого захотите, а то потом будем пить только черный с чабрецом. Вы пьете с чабрецом?

– Ну конечно, я все пью. Тебе чем-нибудь помочь? – Нет. На кухне я – хозяин. Вы мне поможете, если сядете вон туда, к стене, а то и так тесно, проезжать не везде получается, если вы там стоите.

– Я принесла тебе апельсины. – Спасибо. Я, правда, их не ем.

– Аллергия?

– Нет, просто скучный вкус. Но я могу сделать фруктовый салат, в салате апельсины можно с чем-нибудь смешать.

– Ты, видимо, любишь готовить?

– Да, люблю.

– А есть, судя по твоей комплекции, не очень.

– Да нет, есть тоже люблю, просто я такой. Кстати, вы могли бы мне действительно помочь кое в чем?

– Конечно, говори, буду рада.

– Вы не могли бы попросить вашу Лену не приносить мне ее еду? Да и вообще. Зачем все это? Вы же видите, я отлично справляюсь. А так она приезжает, привозит свои голубцы и еще заставляет меня их съесть. Потому что ей кажется, что я без них умру с голоду. Хотя у меня еды столько, что хватит неделю целый отряд голодных пионеров перекармливать. И вообще ей слишком много чего кажется, а объяснить ей хоть что-то я не могу. Точнее, я могу, но она все равно меня совершенно не слушает. Она и маму не слушает. Да и, наверное, вообще никого. Что-то придумала и со своими придумками имеет дело. Я не против, пусть. Но только голубцы ее, если честно, – редкостная дрянь. Готовить она, видимо, не умеет или не любит. Бывает такое, ну не получается. Вот только почему я должен это есть? Но ведь совершенно невозможно восстановить в этой квартире тишину, пока она не уйдет. А она не уходит, пока я не съем столько, сколько она посчитает нужным.

– Да-а-а, Степа. Ну ты задал мне задачу. Убедить Лену в том, что ее участие в твоей судьбе излишне, да еще и в том, что ты без ее голубцов обойдешься, будет непросто. И уж прямо тебе скажу: успех этого мероприятия маловероятен. Но я постараюсь приложить все свои усилия. Тут просто «в лоб» не получится, это надо будет что-то придумать, куда-то перенаправить напор ее милосердия.

Он вдруг принимает решение и...

– Щас!

Резким, но отточенным рывком переместился на своем стуле от стола к плите, приподнял крышку казана и резко выключил газ.

– Чуть не подгорело, заговорился с вами, – немного расстроенный, он засуетился, – нижний слой, наверное, все-таки даст немного не того запаха, уж извините.

– Да что ты, брось. Это ж плов – народная пища, она должна быть с разными запахами. По мне, так пахнет просто восхитительно. И как ты какой-то другой запах учуял?

– Сейчас еще немного настоится, минут пять, и будем пробовать. Да, вы это хорошо сказали «напор милосердия», что-то немилосердное в нем чудится, если никто не спрашивает, чего же на самом деле мне нужно, и заставляют меня делать что-то якобы для моего блага. Как думаете?

– Не то слово, Степ. Что у тебя с ногами? – все же решаюсь спросить. Делание вида «я не пытаюсь рассмотреть твои ноги» стало уже отвлекать меня от разговора.

– Мышечная атрофия, – говорит он буднично и по-деловому.

– Это давно? – спрашиваю я вместо вопроса («Это навсегда?»), который хочется задать, но не решаюсь.

– Лет с семи, по-моему. Сначала я чем-то тяжело болел, потом постепенно ноги стали болеть и худеть. Ходить я перестал в десять.

– Это лечится? – все же решаюсь я задать этот страшный вопрос.

– Не очень-то. Вроде бы остановили немного, пока не прогрессирует. Хотя после того как бабушка умерла, ноги опять страшно болели, мы с мамой боялись, что все началось снова. Но мы с Каменецким вроде бы справились.

– Каменецкий – это твой врач?

– Да, если бы не он, я бы с вами уже не разговаривал. Он не то чтобы из петли меня вынул, но что-то вроде того.

– Ты что, в десять лет покончить с собой хотел, что ли? – У меня все холодеет внутри.

– Нет, не в десять, после бабушкиной смерти. Но вы маме не говорите, она не знает. И вообще пора плов есть. Вы же были такая голодная, – смотрит на меня и хитро улыбается.

А на меня столбняк напал, я понимаю, что знаю этого мальчишку всего-то полчаса, но представить не могу, что этого парня уже могло не быть на земле, да и вообще что я могла его не знать.

– Да, хорошо, давай плов. Тебе помочь? – Я встаю почти автоматически, вроде как я же – взрослая женщина на кухне.

– Сядьте, – командует он, – главное правило на моей кухне: не попадаться мне под колеса.

– Прости, забыла, – усаживаюсь я снова, и только тут на меня наваливается такая усталость, что, пока он хлопчет, раскладывает плов по тарелкам, разливает «правильный» чай с чабрецом, у меня просто сами собой смыкаются веки. Так вдруг захотелось спать. Столько впечатлений для одного дня, который я собиралась провести, утонув в запланированном сибаритстве.

– Устали? – спрашивает, устраиваясь возле стола, стягивая бандану и всматриваясь в меня своими серо-зелеными глазищами из-под длиннющей челки. Так он выглядит совсем ребенком, и у меня начинает щипать где-то в носу. Я увлеченно жую плов. Не плакать же при нем.

– Не знаю даже. Наверное, согрелась и расслабилась. А может, впечатлений слишком много. Ведь сегодня с утра я даже не подозревала о твоём существовании. Мы ведь с твоей мамой после института и не виделись. К тому же ты не очень-то рад был моему утреннему звонку. Я, честно говоря, не была уверена,пустишь ли ты меня. В первый раз на домофонный звонок никто не ответил.

– К нам же просто так не ходят. У мамы ключи есть. А в домофон любят звонить всякие рекламщики, к почтовым ящикам попасть хотят. А мне, чтобы до трубки доехать, надо в

коляску пересесть, на стуле неудобно. Поэтому я не всегда успеваю. Хорошо, что вы переняли второй раз.

– То есть ты мне рад?

– Ну конечно. Вы же в гости. Кормить меня насильно не собираетесь, навязывать свое милосердие, как я понимаю, тоже. Скорее уж я вас могу угостить. А гостям я всегда рад. Как вам плов?

– Божественный...

– Да бросьте, я ж серьезно.

– И я вполне. Ты уж прости, я что, устарело выражаюсь? Нет, правда, очень вкусно. Это я более чем честно, потому что сама я готовить почти не умею, что, впрочем, в этом контексте оказалось более чем удачно. Потому что притащись я к тебе с борщом, который собиралась приготовить своему мужу, то, возможно, тогда у меня не было бы шанса подружиться с тобой. Его бы постигла участь Ленкиных голубцов, и мы вместе с борщом стали бы объектом твоей подростковой ненависти. Так что суперкулинар среди нас двоих точно ты. А я всего лишь горячий и преданный поклонник твоего таланта.

– Смешная вы, – курлыкнул он, проглотив смешок вместе с ложкой плова.

– Степ, я, пожалуй, пойду, спасибо тебе за плов и чай, и вообще за то, что пустил. – Я стала вставать из-за стола, опять же автоматически взяв свою тарелку и кружку с намерением отнести все это в раковину, но запнулась под его строгим взглядом и смиренно поставила все на место. – Я поговорю сегодня с Ленкой, попробую как-то сдержать или перенаправить ее порыв. Если можно, я приду к тебе завтра.пустишь меня? Откуда ты, кстати, берешь продукты? Может, что-то купить по дороге?

– Я буду вам рад, приходите, конечно. Если вам удастся отговорить Лену, вы меня просто спасете. Продуктов не надо. Есть интернет-магазины, все налажено.

Разгребая пожухлые листья, хрустя первым ледком, я тащилась к метро оглушенная и успокоенная одновременно. Завтра... Атрофия... Могло не быть... Каменецкий... Ленка. Ленка!!! Уже подходя к метро, начинаю судорожно набирать номер. Как же я стратегически лоханулась! Надо было сразу позвонить тогда, пока иду до метро, можно было бы поговорить, а теперь стой на холоде, в метро не зайти. Да и вообще она могла уже к Степке выехать, она же сказала: «Вечерами только могу». У меня аж руки затряслись от подозрения, что единственное, о чем меня попросил мальчик-колясочник, может оказаться невыполнимой миссией.

– Так, слушай, я позвонила Варьке, она согласилась зайти к нему завтра – горло посмотреть хотя бы, – Ленка, как всегда, с места в карьер, – и потому завтра с тебя только продукты, а сегодня я...

– Нет! – Я понимаю, что кричу, как будто от моего крика зависит чья-то жизнь. – Не надо ничего сегодня. Я была у него только что, у него все в порядке. Продуктов у него полно, он заказывает их по интернету, горло у него не болит. Еды у него тоже навалом, он еще и меня накормил.

– Ты чего кричишь? Я уже сырников напекла, куда я их теперь дену? Мои столько не съедят, а ему полезно, это же творог, а творог – это кальций. А кальций – это для костей, понимаешь?

– Ленка, я прошу тебя, не надо сегодня. Ты знаешь, он сказал, что спать очень хочет, поэтому спать скоро ложится. А так ты придешь, его разбудишь, никакие сырники тогда в него не полезут.

– Во-о-о-т! Я же говорила! А ты говоришь, горло не болит! Спать в такую рань! Только больные дети готовы так рано спать ложиться. Эх, Арина. Не понимаешь ты в детях, может, потому, что у тебя своих нет...

Вот стерва! Умеет в больные места. Вздохнуть три раза, до пяти досчитать, а то всю правду про ее голубцы сейчас и выложу. Решила идти ва-банк. Врать, так упоенно:

– Ленка, я проверила его горло, даже температуру померили. Все в полной норме. К тому же у него свой врач есть, который его ведет – Каменецкий. Он к нему как раз пойдет завтра. А я тоже завтра там буду, так что все проконтролирую. А сегодня дай ему выспаться нормально, Лен. Он и вправду устал, наверное, все ж за маму переживает.

– Ну еще бы, как не переживать-то, вся переломанная там лежит.

– А ты знаешь, что с ней случилось? Отчего она вся переломанная? А то она говорить не хочет.

– Ну как не знать, знаю. Бывший приезжал. Она его долго впускать не хотела, тот ей, наверное, чем-то пригрозил или уговорил ее, кто ж его знает. Она его впустила, ну к ночи-то он от нее живого места и не оставил. Теперь он снова в бегах, а она в больнице.

– Какой кошмар! Это что же? Они при ребенке, что ли? А ему-то каково? Как же? А Степку-то он хотя бы не бил? Да и ее – за что же? – У меня от ужаса даже ноги ослабели, присесть захотелось, только присесть-то и негде, прислонилась к стене, руки уже окоченели, телефон бы не выронить.

– Нет, Степку вроде бы нет. Он «скорую» и милицию вызвал, только, пока они ехали, ей уже крепко досталось. За что? Да ни за что. Он же сидел раньше, после тюрьмы-то всякими возвращаются. По-моему, он хотел, чтобы она его прописала, что ли, или денег дала. Не знаю точно.

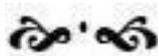
– А он что, Степкин отец?

– Ну да, она ж за него на четвертом курсе замуж вышла, помнишь?

– Что-то помню, но она ж нас с ним не знакомила. И на свадьбе никто из наших, по-моему, не был... Ладно, Лен. Замерзла уже вконец, я в метро захожу. Пожалуйста, пообещай мне, что ты не поедешь сегодня к Степке, а завтра я там буду и потом тебе дам полный отчет. И Варьку попроси, пожалуйста, тоже не беспокоиться. Она же врач, ей своих больных хватает за глаза.

– Вот же черт!!! Игореха, ну-ка зови сюда своего брата, пусть полюбуется, что его проклятый пес сделал с моей сумкой! Уйди, ирод проклятый! Ну что за пес противный?! Иди-иди сюда! Посмотри! Кто будет следить за своим псом? Мы как договаривались?! Ладно, Арина, пока!

Гудки оборвали драму, развернувшуюся в Ленкином семействе. Слабая надежда – моя просьба принята во внимание – пережеглась с тревогой о том, что Ленка не очень любит слышать то, что ей говорят. Метро везло уставшую женщину, вместившую в себя чужую историю, вобравшую в себя чужую боль, от которой теперь так просто не отмахнуться, не освободиться. Да и чужую ли? Где эта грань: свое-чужое? Инга когда-то точно не была чужой. Незнакомой, скорее, но не чужой. А Степка? Его теперь как назвать? Кто он ей теперь? Не сын, не родственник, непонятно кто. И еще большой вопрос, кто к кому сегодня проявил милосердие.



– Понимаешь, Степ, это ведь не так просто: не проявлять желания как-то помочь и что-то сделать за человека, когда ты видишь, что он на костылях или в инвалидной коляске. – Наш разговор плавно перетекает от гостевой чашки кофе к обеду, и потому Степка бросает мне ответные реплики, сосредоточенно и спокойно вращаясь между столом, плитой, холодильником и шкафчиками.

– Да, и согласитесь, Арина, что в этот момент эти люди больше думают о себе, чем о том человеке, которому они рвутся помочь. И все потому, что им кажется, что мы настолько беспомощны.

– Слушай, Степ. Ну как в твоём возрасте можно быть таким взрослым и умным? Откуда это все?

Он вдруг останавливается, смотрит на меня изумленно и грустно:

– Да ниоткуда, просто жизнь. И наверное, еще книги. Я, как вы понимаете, могу позволить себе много читать. В школу же не хожу, на домашнем обучении. А читаю я быстро. Да и в Интернете сейчас можно найти при желании все, что захочешь.

– Да, читаешь. Это заметно. А друзья у тебя есть? – спрашиваю, а самой зажмуриться хочется. Кто ж его знает, может быть, мои прямые вопросы могут причинить ему боль, как мне Ленкины комментарии.

– Конечно, есть! – Он улыбается так широко и так... светло, что ли, эх, словаря не хватает, чтобы описать некоторые выражения его лица. – У меня одноклассники есть, я ж на домашнем обучении только с десяти лет. Мы по соцсетям много общаемся, я в курсе всех классных дел. С ребятами по реабилитационному центру мы видимся. Да и гости у нас часто бывают. Хотя мне и одному хорошо. Я – тихий. Люблю тишину или хорошую музыку. У меня колонки – что надо. С музыкой можно пережить все что угодно. Появляется ощущение разделенности, словами ведь часто не объяснишь.

– О да, это я понимаю. Я, например, без музыки – ни заснуть, ни проснуться не могу. Она меня хоть немного из себя самой вынимает, останавливает бесконечные размышления и диалоги с собой. А чем это так вкусно пахнет?

– Щи с белыми грибами. Вчерашние, правда, и белые грибы сушеные. Но настоящих неоткуда взять. А так было бы вообще круто. Ну что, наливаю?

– Ну конечно, спасибо. Странно как-то. Я вроде как тебя кормить должна. Я же взрослая. А кормишь меня ты, ребенок, второй день уже, – дую на щи, так не терпится зачерпнуть побольше.

– Разве взрослые – для того, чтобы кормить? – Лицо слегка суровеет, и мне почему-то неуютно, когда он такой. – Особенно если я сам могу приготовить и поесть. И почему их больше всего заботит именно это?

– Наверное, пережитки лихих годин, военного прошлого, когда накормить ребенка было равносильно тому, чтобы его спасти. А для чего, по-твоему, нужны взрослые?

– Не знаю, это кому как, наверное. Мне для того, чтобы были рядом. По крайней мере те из них, которые могут хоть как-то слышать и понимать, те, у которых хоть что-то живое осталось внутри, честное. Кто разговаривает с тобой не с намерением изречь что-то педагогичное и назидательное или покудахтать: «Бедный ребенок, а матери-то его какво?», будто я теперь стопудовые гири на ее ногах. Вот эти, что начинают причитать, жалеть и навязывать свое милосердие, эти – только нагрузка. Их послать хочется далеко и надолго. Но мама всегда расстраивается, если я грублю. Она ничего не говорит, но у нее такое становится выражение лица, что я его перенести не могу. Как вы, кстати, справились с жаждой кулинарной благотворительности тети Лены?

– Эх, Степка. Если честно, пока не очень справилась. Могу констатировать только временную победу. Пока удалось только спасти тебя от нападения ее сырников вчерашним вечером. За это пришлось сочинять, что мы тебе и температуру мерили, и горло смотрели, и что вообще тебя сегодня твой Каменецкий навестит.

– Это было бы здорово, если б он пришел! – Лицо его снова осветилось, из чего я сделала вывод, что, судя по всему, его врач относится к типу «живых» взрослых. – Но не придет. У него столько работы. Весь наш реабилитационный центр только на нем и держится. Трудно представить, как бы многие из нас были без него. Так что пусть уж отдыхает, если у него получится. Только ведь не умеет.

– Слушай, а может, кому-то в вашем центре нужна помощь, чтобы им еду готовили, так мы бы Ленкину энергию туда бы и направили? Как думаешь? – Я быстро осеклась под его красноречивым взглядом.

– Ну вы даете, у меня же там врагов нет, чтобы на них тетю Лену натравливать. Если я сам не могу ее голубцы есть, как же я буду так товарищей подставлять?

– Тоже верно. Что, совсем несъедобные получаются? Это ж капуста и фарш, что там можно испортить?

– И я так думаю, что простое блюдо-то. Как его можно умудриться сделать таким невкусным? Давайте придумаем что-нибудь другое. У нее же своя семья есть и дети. Почему она ими не занимается?

– Да занимается, целых трое, детей-то, да еще больная, лежачая мама. Мужа нет, сбежал. Но Ленкиной энергии на все хватает. Она ж – цунами, ураган. Сама доброта и участие, борьба с лишенностью и чужими бедами в широких масштабах. Она из приезжих, из общежитских. Те в свое время только на взаимовыручке и тянули. Слово «голод» было знакомо им не по историям военных времен. Всем делились тогда в общагах: едой, лекциями, одеждой... Мы завидовали им в чем-то. В общаге столько всего происходило, такая концентрированная жизнь. А у нас, местных, что: пришел из института, поел заботливо приготовленный бабушкой супчик и дальше не знаешь, куда себя приложить. Может, от общежитской жизни это все у Ленки осталось, а может, сама она такая.

Некоторым людям легче заниматься чужой жизнью, в ней же все понимаешь. Так хорошо видно: как жить другому. Своей жизнью заниматься значительно сложнее. Чуть остановишься, посмотришь на то, как живешь, и увидишь лишь тупики. Кому понравится? А в чужих лабиринтах всегда видятся выходы, да не по одному...

Ну ладно, я придумаю что-нибудь. Я же обещала тебе – помогать справляться с Ленкиной жаждой проявлять сострадание.

– Да уж, вот я про это и говорю: сколько же нам приходится тратить сил на то, чтобы справиться с чьей-то добротой. Что-то не так в этом все же, не находите?

– Нахожу, Степ, нахожу. Как там мама твоя сегодня? Ты ей звонил? К вопросу о доброте и помощи, ей ничего не нужно? Навестить, принести, лекарств достать?

– Нет, спасибо. Тетя Варя принесла ей все лекарства, какие нужно, и с врачами поговорила. – По лицу его пробегает какая-то мука, что-то горестное во вдруг опустившихся щуплых плечах, и все эти свидетельства его сильных чувств ему хочется скрыть от меня.

– Степ, не могу не спросить, уж извини. Не любопытства ради, просто чтобы не с чужих рассказов, а от тебя. Что же произошло? Я понимаю, что тебе не хочется, наверное, это вспоминать...

– Да, не надо об этом. – Он даже отвернулся от меня, чересчур резко, стул занесло, и он сильно ударился боком об угол шкафа.

– Прости. Больно? – Меня опять подбросило со своего места и рвануло в его сторону, трудно усидеть, когда видишь, как ранится ребенок.

– Сидите, ничего.

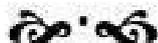
Мучительная пауза накрыла кухню, вмиг сделав нас чужими. «Зачем я здесь? Для чего сама-то лезу в чужие жизни? Хочешь как лучше? Вспомни Ленкины голубцы. Спасаясь от своих тупиков? Пора и честь знать. Не рань хотя бы ребенка своим спасением».

– Я пойду, пожалуй, Степ. У тебя есть свои дела, уроки, наверное. Это я же в отпуске, а у остальных людей – будни. Спасибо за обед. Все-таки это необыкновенно вкусно – то, что ты готовишь. – Я пробиралась к выходу, говоря дежурные, но искренние фразы, а хотелось реветь. Сильно так, отчаянно... Сесть бы тут, прямо на пол в прихожей и разреветься белугой. О чем, не знаю.

Пока надевала пальто, запуталась в рукаве, лежавший там шарф застрял: ни туда ни сюда. Справившись и подняв глаза, я увидела не Степку, обычно по-деловому и гордо возвышающегося на своем офисном стуле, главного босса кухни. В низком инвалидном кресле с большими колесами сидел шуплый мальчишка, смотревший на меня с горечью и вызовом. И тогда я не удержалась:

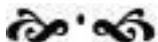
– Сложно с тобой, парень. Вот ты сам готов и накормить, и поговорить, и побеспокоиться, а о себе позаботиться не даешь. И тогда, пойми, трудно к тебе приходиться, ведь начинаешь чувствовать себя дармоедкой, обедающей бедного подростка, у которого к тому же мама в больнице.

– А вы не приходите, – я открыла дверь, ничего не оставалось, как шагнуть за порог, – или поймите, что ваша ценность для меня не в том, чтобы что-то делать, сделать я и сам могу. Я обернулась, хотела увидеть его глаза, но дверь уже захлопнулась.



Ей приснилось отчаяние. Оно выплюнуло ее из картины. «Акробаты. Мать и дитя» – так она называлась. Она видела ее в альбоме и помнит тот день, когда картина ее поглотила, овладела ею. «Розовый период», ха. Столько материнского отчаяния. Выросшая девочка на шаре. Теперь ты, сын. Перебирай ножками. Держи равновесие. Улыбайся. Ты в голубом трико моего старания и одиночества. Твоя способность держать равновесие – условие нашего выживания. Если ты не справишься, то и мне не жить. Не отворачивайся от меня. Я сама в отчаянии. Я хотела бы тебе другой судьбы. Но у нас с тобой только эта. Другой нет.

Она впервые проснулась не от боли, а потому, что глухо застонала соседка по палате. Чужая боль подбрасывала ее – встать и помочь, но тело не слушалось, слабость не давала даже пошевелиться. Сегодня какая-то правильная слабость, отпускающая, помогающая расслабиться, разрешающая не шевелиться, блаженная. Смешное слово. Блаженная слабость. Да, сегодня она может ощутить себя отдыхающей. Сегодня она просто отдохнет. Она в больнице. Ей ничего не надо делать, даже бороться с болью. Она хочет просто лежать, не шевелясь. Сегодня ей можно. Даже поспать еще немного. Пусть только перестанет сниться эта картина. Этот мальчик, отвернувшийся от материнского отчаяния.



«А вы и не приходите», – звучит как укор. «Зачем приходила? Кого жалела? Во что играла? Кто просил?» – «Ленка просила». – «Ты даже с этим не справилась. Ты обещала ей отчитаться сегодня вечером. Что расскажешь? Что он тебя выгнал? И что после этого будет?» – «А вот ничего и не будет. Пусть она прется к нему, а он терпит, раз такой умник. Или шлет ее куда подальше. Меня же послал». – «Тебя, видимо, можно. Одно из двух, либо это акт большого доверия, либо ты такова, что тебя можно обидеть и выгнать. Выбирай, что тебе приятнее думать». – «Пожалуй, пообижаюсь я пока, про большое доверие как-то верится с трудом».

– Ну что, как там ребенок? Что сказал врач? Чего привезти, завтра вечером приеду. – Она даже к вечеру полна энтузиазма, откуда он в ней только берется, и где тот бездонный источник? Сегодня он меня, по понятным причинам, особенно раздражает.

– Ничего не сказал врач, не приезжал он. И готовить ему ты можешь не стараться, не нравится ему твоя еда. И вообще никто ему не нужен, посылает он всех куда подальше. – У меня не было желания скрывать свою мрачность от Ленки, хотелось сделать что-то резкое,

чтобы меня отрезало от этой истории, чтобы не было даже желания выискивать возможные пути назад.

– Какая муха тебя укусила, чего это ты? Почему врач-то не приезжал? Как у него горло? Везти мне завтра апельсины или нет?

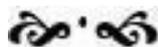
– Ленка! Ну какие к черту апельсины???. Ему ничего не нужно. Он тяготится нами. Ты поняла? Тя-готится! Ему вообще стыдно, что мы вокруг его семьи круги нарезаем. Ему противно, что мы думаем, что без нас они с матерью не выживут. А они выживают. И у них все отлажено. Он в школе учится, у него друзей полно, продукты по интернету заказывает, книжки читает. Да он в полном порядке, может быть, в гораздо большем, чем мы с тобой! Чего привязались к пацану? Ленка, мы – две сумасшедшие тетки, которым заняться в этой жизни нечем!

– Это тебе нечем, – впервые слышу Ленку такой тихой и печальной, – мне есть чем, у меня мама и своих трое. Я просто помочь хотела. Не надо, так не надо. Сказали бы сразу. Пока.

Миссия выполнена. Только почему ж так гнусно и пусто? Ленку обидела, что ли, или потеряла что-то. Потеряла, наверное. Еще бы понять, что именно. Возможность какую-то.

Возможность быть лучше? Делить жизнь с этими людьми? Но я же не знала их. О его существовании до вчерашнего дня вообще не подозревала. А Ингу знала совсем давно, даже удивилась, что у нее, оказывается, был мой телефон, раз она меня сразу узнала. Жаль, наверное, что не знала. А может, и хорошо. Что бы я делала, если бы была у них в гостях, когда ее муж-уголовник приходил права качать? Сложно все это. А если бы мне досталось? История-то непростая.

Ну может, хотя бы когда у Степки бабушка умерла, я была бы рядом. С Ингой он не мог тогда поделиться своим отчаянием, хорошо хоть этот Каменецкий оказался рядом. Как важно, когда кто-то из взрослых просто оказывается рядом. Про это он и говорил, мол, для того и взрослые. Ну да, чтобы быть рядом... Тогда, уже за порогом, что же он сказал? Что-то важное после «а вы и не приходите»... Важное, а не вспомнить, настолько вытолкнуло и резануло меня это «не приходите».



Найти в интернете Каменецкого и его центр не составило труда. Гораздо сложнее было дожидаться окончания его рабочего дня. И уже заходя в его кабинет, я поняла, что не знаю Степкиной фамилии, если она у него от отца.

– Вы по какому вопросу, барышня?

– Я не по вопросу, я бы поговорить с вами хотела про мальчика Степана.

– Про которого из? У меня много ребят.

– Про шуплого, с атрофией ног, сероглазого, вихрастого, с мамой Ингой.

– Про Степку? А что с ним? Вы из школы? По вопросам собеса?

– Нет, я не из школы, я просто Ингина подруга. Я так, по личной инициативе.

– А, по личной. Давайте... как вас зовут?.. Во-о-о-т, давайте, Арина, прогуляемся. – Кудрявый великан грузно вытащил свое могучее тело из-за стола. – Я так много сижу. К тому же я ничего не ел с самого утра, и если вы разделите со мной трапезу, то буду благодарен, заодно и поговорим.

Только выйдя за пределы центра, я увидела, насколько он вдруг сделался уставшим. Там в кабинете, мне казалось, царит, правит и спасает пышущий здоровьем и уверенностью пятидесятилетний великан, а здесь прикрывал калитку сгорбившийся и абсолютно усталый «мужчина за шестьдесят» с сомнительным состоянием здоровья.

– Степка, говорите? И что с ним? Ноги болят? Или опять бузит? Справедливости требует?

– Справедливости – нет, вроде бы не требует. Его мама в больницу попала, там история какая-то жутковатая про его отца. Я толком ничего и не знаю, все по слухам. Так вот, мама в больнице, а я ее подруга, бывшая одногруппница, пришла Степке помогать, а он меня и выгнал.

– Прямо-таки выгнал? – Доктор с прищуром изпод седых бровей метнул мне улыбочку. – Это маловероятно. Степка – парень вежливый. Но не терпит, когда его жалеют. Но и это понятно, кому ж в его положении понравятся причитания. Он – парень с достоинством. Может быть, вы с жалостью переборщили. Или он вас проверял просто. С таким прошлым, как у него, не каждому доверишься.

– Да, вы правы. Нельзя сказать, что выгнал, это я, скорее, не так его поняла, обиделась. Ну вот как с ним быть? Я прихожу к нему, а он сам все делает, меня кормит, как маленький кулинарный бог по кухне мечется, восседая на этом своем офисном «троне», а помочь себе не дает.

– Он таки приспособил его? – Доктор даже приостанавливается, явно переживая удовольствие от моих новостей. – Вот рукастый! Это да, я ему идею подал, только там нужно было еще фиксатор придумать, чтобы ролики не уезжали, когда возле стола что-то делаешь или возле плиты. Нужен был упор, который бы рукой можно было включать. Ай да Степка! Витек, наверное, ему помог. Они вместе просто сила великая. Не пацаны – отрада моя.

Мы завернули в ближайшее кафе, где, судя по всему, его уже знали, улыбались и быстро принесли «то, что всегда». Моя солянка была лишь данью ноябрьской холодрыге, есть не очень хотелось. К тому же она пахла совсем не так, как то, что готовилось на Степкиной кухне.

– Так что вас мучает, дорогая барышня Арина? Что он не дает вам ему помогать? А с чего вы вообще решили, что ему помощь нужна?

– Ну не знаю. Мама его в больнице, я – взрослый человек, я же могу что-то для него сделать, вдруг что-то нужно. Вы же оказались тогда в критический момент рядом, тем самым спасли ему жизнь, я тоже...

– Я спас? Это когда же? У таких детей любой момент может быть критическим, особенно когда боли начинаются и есть шанс, что атрофия будет распространяться.

– Когда у него бабушка умерла и, по его словам, все вернулось, хотя они думали, что все уже остановилось. Я не очень знаю, что тогда с ним происходило. Вы вообще знаете его историю? Он мне не рассказывает, замыкается, когда я его про отца спрашиваю.

– Так вы и не спрашивайте. Зачем вам знать то, что другой рассказывать не хочет? Что вам мешает уважать чужое нежелание? Мало ли, по каким причинам ему важно не раскрывать перед вами свое прошлое. Ему может быть стыдно, страшно, он может бояться вас потерять, напугать. Он может, в конце концов, не хотеть испытывать боль, вспоминая. Что вам его прошлое? Настоящего может быть вполне достаточно. Вот вы что видите, когда смотрите на парня?

– Я вижу... мальчишку с русой челкой, в бандане, когда готовит. Щуплого, подвижного, сильного, наверное, иначе он не смог бы пересаживать самого себя со стула в коляску и обратно. Умного и взрослого не по годам, хотя, если честно, не очень знаю, какими должны быть дети в тринадцать лет. Такого... с достоинством, как вы правильно сказали. С силой духа какой-то, его приятно слушаться, он так мягко, но в то же время твердо командует. С печалью глубокой и с полными шкафами скелетов.

– Неплохо, совсем неплохо. Не так мало, как мне казалось. Что же вас тогда удивляет, что он просить не умеет? Чтобы просить, нужно признать свою беспомощность. А это ему пока трудно, с его историей тем более. Пока быть сильным духом и показывать, как многое на самом деле он может, – это настоящее спасение для него. Вот вам почему было бы страшно стать инвалидом?

– Мне? – «Ну у него и вопросыки», – подумала я. – Для меня... наверное, самое страшное – это беспомощность и зависимость от заботы других, невозможность сделать все самой, потеря свободы.

– Вот видите, как просто. И чем шире остается зона возможного, тем больше остается смысла жить. Ведь вы не назвали еще кое-что, с чем такие дети вынуждены жить почти постоянно. Это боль и постоянный страх боли. Это страх отвержения мира и частая встреча с этой отверженностью, и это страх смерти, которая стоит к ним часто гораздо ближе, чем к нам с вами. И если всего этого вдруг становится слишком много, должен возникнуть особый смысл, чтобы оставались силы и желание проходить через это. И этот смысл для многих из них – быть нужным, не быть обузой. Быть способным не только позаботиться о себе, но и еще о ком-то. Ведь тогда все не зря. Чрезвычайно мучительно, моя дорогая, жить, не имея смысла. Особенно если ты инвалид. Здоровому-то не под силу. А уж больному человеку и подавно. Понимаете?

– Да, понимаю. Но ведь вы явно помогаете таким детям, и не только как врач. Вы чем-то очень поддержали его после смерти бабушки. И он принял вашу помощь. Что вы сделали?

– Ничего. Я просто был с ним рядом. Приходил каждый день после работы, уставший и голодный, а он просиживал весь день у окна: ни читать не мог, ни делать ничего не хотел. Инга в больницу слегла в предынфарктном состоянии. А он врубил Бетховена или Скрябина (я не очень-то в музыке разбираюсь) на полную мощь и сидит целыми днями. А я приходил, и ему нужно было встречать меня, музыку свою выключать, готовить, продукты закупать. Бандану вот ему купил. Все ругался на него, что не дело это – с немывтыми патлами по кухне разъезжать. Неудобно ему было, инвалидное кресло низкое, но ничего, готовил, куда ж деваться-то.

Первые три дня вообще со мной не разговаривал. Приготовит, поедем. Я посижу, подремлю прямо там, на кухне. И домой. Только на третий день он расплакался, про бабушку рассказал. Я ему массаж стал делать. Его ведь на процедуры не увезешь, да и на массажиста у них денег не было. А массаж нужен. Очень. Только к его спине прикоснулся, так тот и расплакался. Но и массаж, конечно, болезненный. Тут не захочешь, заплачешь. Но вы понимаете, дело-то не в физической боли. Она – просто разрешение. Как поплакал, так, вижу, полегчало. Значит, будет жить, подумал я. Вот тогда идею с офисным стулом ему и подал. А дней через пять Инга вернулась, ну и все. Боли у него ослабли. Музыку стал другую слушать.

Им бы квартиру поменять. Мыслимое ли дело: его с пятого этажа без лифта таскать. Или коляску эту. Это так его ограничивает. Как Инга это все делала – ума не приложу. Когда хоть немного подвижность сохранялась, на костылях поднимался, спускался. Но вы ведь видели этот пятый этаж. Здоровый-то употеет. Им обязательно нужна квартира с грузовым лифтом и съездом специальным. Ладно, барышня Арина. Спасибо, что разделили со мной ужин. Привет Степке передавайте, хотя недели через две, по-моему, у него осмотр, так что увидимся с ним.



Весь следующий день прошел в маете. Столько месяцев я мечтала о такой благодати, как молчащий телефон. Мне казалось, что так мало нужно для счастья: всего лишь замерший маленький монстр, неспособный выдавать трели, означающие «ты нужна, реагируй, вовлекайся, отвечай, помогай, будь на связи». И вот случилось. Благословенная тишина. И что? Так трудно поверить в это молчание, что несколько раз проверяю, подключен ли.

Совсем не получается заняться хоть чем-то, что бы ни начинала, почему-то кажется, что все «не то», оно не стоит этого бесценного и когда-то желанного времени. Появляется ощущение, что делаю что-то такое неважное, а важное упускаю, безнадежно упускаю и тогда суетливо переключаюсь на что-то другое, и... тот же результат. Ни одно занятие не увлекает меня так, чтобы в происходящем забрезжил хоть какой-то смысл. Это так невыносимо – сталкиваться с собственным бессилием что-то изменить.

Такой день оставляет внутри горечь от бессмысленной потери времени и едкое недовольство собой. И когда наступил следующий день, я поняла, что встретиться с этими муками снова

у меня просто нет сил. Точнее, нет мужества и веры в то, что, промучившись, я смогу найти себе осмысленное занятие, способное меня поглотить, наполнить, увлечь и дать хоть какое-то ощущение жизни. А для самой себя делать вид «мне так замечательно отдыхается» – утомило еще вчера.

– Степа, извини, что беспокою. Очень нужно поговорить. Я могу прийти?

– Конечно, приходите. Только лучше после трех, а то до этого я буду немного занят, тут будут дети.

«Даже он бывает занят. И откуда там какие-то дети? Может, все-таки хоть что-нибудь ему купить? Он же опять меня будет кормить. Откуда, интересно, у них деньги? И много ли? Ну может, его порадует хоть какойто подарок? Или он опять воспримет его как проявление жалости или, еще хуже, как Ленкины голубцы?»

Иду зависать в книжный. В нем, кстати, всегда успокаиваюсь. Столько возможностей, столько уже кем-то созданных миров и смыслов. Такое спасение. Долго брожу среди полок, зная, где хранятся мои сокровища, этот (ура!) написал новый роман, срочно покупаю. А этот давно ждет меня в списке ожидания, ничего, скоро, толстяк, и до тебя доберусь. А эти у меня уже есть, надо будет перечитать. А у этой так ничего нового пока не перевели, быстрее бы уже. А еще этого нужно проверить, но его среди всего этого мусора и не найти. Наверное, переставили.

Может, мне книгу ему купить? Интересно, что он читает в свои тринадцать? Вряд ли «Дети капитана Гранта». Не долго думая, покупаю ему Эмиля Ажара «Жизнь впереди» и кулинарную книгу с почти съедобными картинками. Ну и музыку, конечно.

– Привет, – улыбаюсь ему настороженно, кто ж его знает, какой прием теперь ждет меня здесь.

– Здравссьте! – Нырять на этот раз не на кухню, а в комнату, выключить музыку, которую не узнаю, что-то очень симфоническое. Я в этом не сильна. Взгляд немного нездешний, как будто погружен во что-то. Но отвержения вроде бы не заметила.

Ковыряюсь в коридоре, ищу все те же фисташковые тапочки, не знаю, куда проходить. Почему-то робею.

– Чаю будете? Или голодны? Поесть? – смотрит на меня, но еще не вернулся из своих каких-то внутренних путешествий, присутствует здесь со мной в облике гостеприимного хозяина, а сам где-то далеко, в своих мыслях. Оказывается, очень трудно, когда так. Хочется, чтобы он быстрее стал тем прежним Степкой, которого я знаю.

– Чай буду, да. Спасибо тебе. – Надеюсь, что на кухне, в его привычном королевстве, восстановится та близость и связь, которая была тогда и которую, оказывается, я так ценю.

– Вы хотели поговорить. О чем?

Я почему-то благодарна его спине. Глаза было бы не выдержать. Спину легче.

– Сначала хотела бы извиниться. Ты извини меня, Степ. Я, наверное, часто спрашиваю лишнее. Просто я не знаю, что можно, а что нельзя. Я понимаю, что ты не хочешь и, конечно, не должен мне рассказывать то, о чем не хочешь. Я вроде бы не из любопытства какого-то, просто...

– Да вы не должны извиняться. Это меня клинит, когда вспоминаю об этом ублюдке.

– Об отце?

– Об ублюдке, который почему-то считается моим отцом.

– Да. Я понимаю. Не буду больше, захочешь, сам расскажешь. Ведь люди имеют право не рассказывать о том, о чем не хотят.

– Вы говорите, как он. – Степа уже здесь, со мной, улыбается и смотрит в глаза, наливая чай. Но я все равно еще туплю, видимо, от волнения.

– Как твой отец?

– Да нет же, как Каменецкий.

– А. Да. Я, кстати, с ним познакомилась, мы разговаривали, – облегченно улыбаюсь.

– Правда? А где?

– Я ездила в ваш центр, хотела увидеть человека, который спас тебе жизнь. Хотела узнать, как он умудряется помогать таким, как ты.

– «Таким»?

– Про которых непонятно, как им помогать, потому что они отвергают любую помощь, но, очевидно, в ней нуждаются.

– И что, узнали?

– Начала узнавать. – А зачем вам это?

– По многим причинам: ну во-первых, дорожу нашим с тобой знакомством и хотела бы знать, как мне быть с тобой, но при этом тебя не ранить, да и самой не шараться. Я ведь с такими детьми раньше не общалась. Да и вообще детей своих у меня нет. И что такое мышечная атрофия, я до встречи с тобой не знала. А во-вторых, я ведь ничего не знаю о том, как и чем живут люди-инвалиды, а я ведь сама инвалид.

– Вы? Разве? А что с вами?

– Ограничение возможностей.

– Что?

– Инвалидов ведь называют «людьми с ограниченными возможностями», так?

– Ну да, называют.

– Вот и у меня это самое. Я – человек с ограниченными возможностями.

– Да бросьте, чего вы не можете-то?

– Гораздо больше, чем ты, Степка.

Его удивление сменилось недоверием, готовым вот-вот перерасти в злость.

– Я не издеваюсь. Вот ты чего не можешь? Ходить? Танцевать? Бегать? А я не могу жить. – Мне самой уже становится жутковато от слов, которые произношу. – Я не чувствую себя живой. Я не могу ощутить собственную жизнь точно так же, как ты не можешь ощутить опору в своих ногах. Такое, конечно, не всегда случается, но часто, очень часто, если только я не занята чередой каких-то дел, чужой жизнью или чужими историями в книге, которую читаю. У меня тоже, видимо, атрофия... собственного «я», личности, что ли...

Тишина, наступившая за столом, как-то пригнула меня, и я совсем согнулась над чашкой, в «три погибели», как говорила моя бабушка когда-то.

– Да ну перестаньте, – вдруг взрывает он тишину со смесью раздражения и какого-то непонятного облегчения, – что за глупости вы говорите! Да вы самая прикольная из взрослых, которых я знаю, после Каменецкого, ну и мамы, конечно. Атрофия личности – скажете тоже! Не видали вы таких. Вы в школе давно не были и в детской поликлинике. Сходите. Там таких, с обширной атрофией всего на свете, полнымполно. У нас тогда что, вся страна инвалидов?

– С этой точки зрения, наверное, да. У нас очень многие не знают, как жить, живут автоматически, как на трамвае едут. Поставили их на рельсы еще в яслях, и понеслись остановки: садик, школа, институт, замуж, работа, домой, дети, которых тоже нужно на рельсики ставить. По рельсам ведь хорошо: думать не надо, задаваться, так сказать, смыслами бытия. Главное – быть хорошим пассажиром. Самому сойти страшно, а главное, непонятно – зачем. Если выгонят – еще хуже. Это ведь будет означать, что ни на что не годен.

– Это почему же?

– Ну как почему? Другого-то навыка нет, только в трамвае быть пассажиром.

– Ну это будет повод научиться быть кем-то другим: пассажиром такси, самолета, корабля или даже водителем, боцманом, капитаном, например. Да кем угодно.

– Вот об этом и говорю. Я без жизни в трамвае вообще себя не мыслю. А у тебя двести других идей. Это и есть – мои ограничения.

– Да бросьте... приbedнятесь.

– Да если бы. Знаешь, я такое пережила... Вот спроси меня, что случилось? Всего лишь отпуск, в котором я провела один день, предоставленная сама себе, не поехала ни в какую зарубежную поездку, в которой новизна замещает то, что может родиться изнутри. И с чем я столкнулась? Я поняла, что вообще не знаю, кто я без своей работы и дел, чем себя занять и что мне нужно сделать, чтобы обрести смысл и понимание, зачем мне стоило прожить этот день, да и свою жизнь в целом. Вот у тебя такое бывает?

– У меня бывает, но не так. Я думаю, что все не имеет смысла, когда кажется, что боли не будет конца, и когда боюсь, что атрофия отнимет у меня и руки, а потом и остальное. Что она будет отнимать у меня самого по кусочкам. Что чем дальше, тем больше я буду бессилён. Вот тогда я думаю, что смысла нет. Когда я понимаю, что уже сейчас я не могу защитить близких мне людей, а дальше может быть только хуже. И я не перенесу своей беспомощности. Вот от этого мне не только кричать хочется, а рвать зубами мои бессильные ноги, так подводящие меня... Я уверен, что если есть ноги, то все остальное так просто.

– Если бы, Степ, – вздыхаю я, – здоровые ноги есть у многих. А толку? Много ли вокруг «живых»?

– Не много. Но вы еще ничего.

– Спасибо. Хотя «ничего», возможно, правильное слово. Я пока не очень «чего»... Удивительное дело, при внешнем абсолютном благополучии внутри меня столько нежизни, что даже трудно кому-то объяснить, что это и почему это так мучительно. Ее так трудно описать, так сложно вынуть ее из себя, но пока эта нежизнь внутри меня, я как будто не могу понять, что жива, порадоваться этому не могу. Ощутить себя счастливой хотя бы по той простой причине, что в отличие от тебя у меня здоровые ноги.

Я еще тебя, Степ, хотела спросить. А почему вы квартиру не поменяете? Как же ты попадаешь на улицу с этим вашим ужасным пятым этажом без лифта?

– На что ее поменять? – Его лицо снова стало суровым и взрослым. – «Двушку» в Люблино на что можно поменять, по-вашему?

– Ну на какую-нибудь «однушку», но с грузовым лифтом и съездом.

– Мама хочет, чтобы у меня была своя комната. И мне кажется, что это правильно, когда у нас у каждого – своя.

– Да, ты прав, извини.

– Вы что, все время будете извиняться, если у меня будет портиться настроение от ваших вопросов?

– А я что, часто извиняюсь?

– Реже, чем чувствуете себя виноватой. Но ведете себя так, как будто мне всегда должно быть хорошо от вашего присутствия.

– Да? Не замечала... Ну да. Конечно. А как может быть иначе? Если мы друзья или хорошие знакомые, конечно, мне хочется заботиться о тебе и делать так, чтобы тебе было хорошо со мной.

– Иначе что?

– В смысле? Иначе я буду переживать. Вдруг тебе будет плохо со мной, ты будешь страдать и будешь мечтать о том, чтобы я быстрее ушла.

– И почему же я вам не скажу, что страдаю?

– Наверное, побоишься меня обидеть или разозлить...

– Ну а вы обидитесь?

У меня начало появляться ощущение, что меня заманивают в какой-то капкан, причем, по-моему, я в нем уже была.

– Да, судя по последним событиям, обижусь, видимо, почему-то. Ты меня запутал.

– Понимаете... – Он вдруг подъехал на стуле к своему креслу и пересел в него, и наконец я увидела, как он это делает. Переместившись, он снова стал меньше, но расслабленнее,

что ли. – Если вы не выдерживаете моей обыченности и чувствуете себя виноватой, то я как будто должен перестать быть таким из заботы о вас, чтобы вам стало комфортнее. А если я хочу побычиться, но вынужден перестать, то я страдаю, потому что перестаю быть собой. И если я это делаю, то потом обязательно все-таки скажу вам что-то резкое, и вы обидитесь, а я тоже почувствую себя виноватым. Так мы и будем ходить по кругу: сдерживать то, что внутри, думать не о себе, а о другом, и оба, что удивительно, будем от этого страдать... Знаете, чем спас меня Каменецкий?

– Чем же?

– Он выдерживал мое отчаяние. Ничего не делал, чтобы оно прошло. Он просто разрешил мне в нем быть столько, сколько мне было нужно. Но при этом он приходил уставший и голодный, и я должен был, хотел покормить его. Так я вынужден был учиться готовить. Если было невкусно, он вздыхал и наедался бутербродами и чаем. Так сквозь мое отчаяние стал проявляться смысл – мне нужно было научиться готовить хотя бы что-то съедобное.

Он не врал мне, не вкусно – не ел. Бухтел или даже ругался, если находил волосы в тарелке. Купил бандану. Иногда засыпал прямо за столом, во время нашего разговора. Это так освободило меня. Я понял, что я могу быть любым – отчаянным, беспомощным, плохо готовить, плакать, и все равно он придет снова. Я могу ошибаться и учиться, а он все равно будет пробовать мою еду. И я всегда буду знать, вкусно или нет. И если не вкусно, то это не повод все бросать и останавливаться, ведь завтра он придет голодным снова. Когда ты нужен кому-то таким, какой ты есть, вот тогда появляется жизнь, о которой вы говорите, и возможности.

Вот и вы бываете честной. Когда вы сказали: «я инвалид», я сначала разозлился, это и правда звучало как издевательство. Но потом, когда понял, о чем вы, то подумал, что, пожалуй, с вами можно иметь дело. Ведь сказать «я инвалид» очень трудно. Язык не поворачивается. Так долго бегаешь от этого слова. Да и вообще долго-долго делаешь вид, что ты такой же, как и все, и ничем от них не отличаешься. Так вдруг становится важно – не отличаться, вы не представляете. Кажется, все за это готов отдать. Мысль о костылях кажется просто жуткой, а уж о коляске... Принимать свои ограничения... Как же!

И вот когда я в очередной раз пытаюсь сделать то, что уже не могу, Лев Андреевич ставит мне мозги на место: «Степка, кончай тут представление устраивать, ты – не такой, как все. Ты не можешь опираться на свои ноги. Они могут, ты – нет. Тебе нужно искать другую опору». И становится ужасно грустно и горько так... Но потом поревешь дома в подушку, и ничего, жить можно, просто ищешь другую опору и понимаешь: да, не как все. Ну и чем плохо? Все, если вдуматься, не как все.

– Ты нашел? Новую опору для себя? – Мне уже хочется невозможного: чтобы меня усыновил этот мудрый ребенок, но мне бывает страшно смотреть в его глаза. Глаза человека, испытывавшего больше, чем ему положено по возрасту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.